

П

еречитывая Юрия Казакова — прозу, автобиографические заметки, статьи о писателях, всегда особо выделяю почему-то его воспоминания о Константине Паустовском. Два писателя сошлись, видимо, не случайно: «...страсть к литературному труду всю жизнь боролась» в них «со страстью к путешествиям». Однажды Паустовский сказал Казакову, что из русских писателей он больше всего завидовал Бунину. И не столько таланту его, а тому, в каких странах побывал Бунин еще в молодости. «Вы представьте только, где только он не был!» — воскликнул он и стал перечислять, что видел Бунин: Палестину, Иудею, Египет, Стамбул... Индийский океан, Цейлон...

Действительно, Паустовскому не довелось в юности побывать в жарких странах. Но он много путешествовал по родной стране. Жил и учился в Киеве, проводил каникулы в Черкассах у бабушки, с которой ездил в Вильно и Варшаву. По дороге видел Ченстоховский монастырь, который показался ему средневековым замком.

В юности он мечтал стать моряком. С греком по имени Анастас в Геленджике впервые вышел на шлюпке в открытое море, испытав одновременно ужас и восторг, когда его лицо окатило морской водой. Возвращая сына матери, грек скажет: «Теперь он у вас соленый, мадам. Уже имеет привычку к морю».

Сев на пароход в Одессе, Паустовский совершил путешествие по Черному морю в Батум, про который позднее написал: «Над городом лежала ночь. Была глухая осень. В тесных переулках горели пыльные фонари, и под ними, над самой головой, провисала густая и тяжелая темнота.

Мы сидели в скудно освещенном, прокисшем от винных бочек духане. Начался дождь. Он обрушился сразу и оглушительно гремел по обитым жестью стенам домов и проржавленным крышам».

Писал о скованном льдом Ботническом заливе и о высоких соснах, трещавших от стужи. Позднее исходил пешком Мещерскую сторону. Лето проводил на реках и озерах, названия которых читатель узнавал впервые со страниц его книг. Путешествия по России давали писателю огромный материал для будущих очерков, рассказов, повестей.

Однажды Казаков выписал в свою рабочую тетрадь из только что вышедшей книги Паустовского «Золотая роза» все, что связывало писателя с дорогой. Получилась забавная картина. Оказалось, что у Паустовского, писал Казаков, «почти все счастливые минуты в его жизни связаны с путешествиями».

Казаков привел описание одного такого счастливого мгновения из жизни писателя: «Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро. Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света. Волны парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски сосновой коры».

Картина, увиденная в тот вечер, послужила Паустовского, как и осознание того, что он куда-то едет. «Когда он ехал, — замечал Казаков, — он думал о той минуте, когда наконец сядет за стол, чтобы написать обо всем, что увидел и о чем думал в дороге».

Прочитав очерк Паустовского «Ветер странствий», Казаков понял одну простую вещь, что «без этого ветра ему трудно было бы жить и писать...

Когда он работал, сидя где-нибудь в деревне или на заброшенной даче, новая дорога уже звала его и не давала покоя...» В дороге рождался замысел новой книги и вера в то, что он напишет ее.

Так Паустовский создавал потом свою знаменитую книгу «Кара-Бугаз». Первые строки он вывел на бумаге, сидя в каюте: «...иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода мочугие машины. Пищали чайки. Писать было легко...» Впереди его ждали какие-то короткие встречи в портовых городах, куда они должны были заходить. Теплоход, разрезая воду стальным форштевнем, шел на север, а Паустовскому в те минуты казалось, что он несет его «к неизбежному счастью».

«Таких воспоминаний о счастье дороги в его книгах сотни», — отмечал Казаков. В «Золотой розе» он обратил внимание на следующие строки Паустовского: «Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по несколько часов, как над увлекательной книгой. Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры. Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам».

Казаков познакомился с Паустовским в Доме творчества писателей в Дубултах — пригороде латышской Юрмалы, кажется, в 1957 году... Константину Георгиевичу в ту пору было шестьдесят пять, Казакову — тридцать. Юрий еще студент Литературного института имени А.М. Горького. Но за плечами у него первое путешествие на Русский Север. Он попал на Беломорье, можно сказать, случайно. Во время студенческих ка-

нику, оформив в редакцию журнала «Знамя», в который он приносил свои первые рассказы, творческую командировку, Казаков отправился по следам Михаила Пришвина, побывавшего в этих краях пятьдесят лет назад. Казаков в ту пору увлекался Пришвиным, его повестью «За волшебным колобком», и ему захотелось посмотреть, что осталось, что изменилось в описанных местах. Так что в пятьдесят седьмом Казаков пришел к Паустовскому не с пустыми руками. Уже были написаны первые северные рассказы: «Никишкины тайны», «Поморка».

Герой рассказа «Голубое и зеленое» Алеша с матерью тоже уезжает на Север. Он давно мечтал об этой поездке. Впервые попадая в леса, настоящие, дикие, охотится, собирает грибы, сидит на берегу озера, видит плавающих в воде рыб, наблюдает за полетом уток, слушает гул сосен... Через месяц возвращается в Москву. В столице, которая оглушила Алешу шумом, огнями, запахами, его не покидают воспоминания обо всем, что он оставил на Севере. После расставания с Лилей мир не разрушился, и Алеша знает, что скоро вновь уедет на Север. Там он был счастлив.

В пятьдесят шестом в Архангельском книжном издательстве у Казакова вышла его первая 35-страничная книжка «Тэдди». Рассказ про медведя по кличке Тэдди, который некогда работал в цирке, но однажды оказался на свободе, потряс читателей своей тихой грустью и светлой печалью. В этом же издательстве готовилась к печати книжка его первых рассказов «Манька», а в издательстве «Детгиз» лежала рукопись сборника рассказов «Арктур — гончий пес». Обе книги увидели свет в пятьдесят восьмом. В них перед читателями предстал совершенно незнакомый Русский Север.

Один из лучших северных рассказов Казакова «Манька» вышел с посвящением Константину Паустовскому, которое было написано после их первого знакомства: «Прочитал он тогда мои первые рассказы и своей восторженной оценкой так смутил меня, что я несколько дней стеснялся к нему подходить». В этих первых рассказах Паустовский почувствовал, как Казакова, коренного москвича, никуда ранее не выезжавшего, Русский Север просто-напросто покорила. И не ошибся: Русский Север стал местом паломничества писателя на всю оставшуюся жизнь.

«У нас летом сеной дух по лугам, — писал он, — дороги среди ржи или пшеницы, яблоки и вишни в садах, равнинные извилистые речонки, гуси ходят по дорогам, ночные зарницы, пыльные автомашины и комбайны, запахи клевера и ромашки...» А тут, словно с полотна Левитана, перед его взором вставала другая Русь: амбары, изгороди, дворы, бани, сизые избы, висящий из пазов мох, щепные крыши, деревянные мостовые, дощатые мостики в проульях... Казаков называл эту картину «деревянной музыкой Севера». Здесь, на краю русской земли, перед Казаковым открылась «невысокая пустынная гряда холмов, почти плоская тундровая равнина и река, странно текущая вспять в часы прилива». Но от такой, впервые увиденной картины, и у него дрогнуло сердце — повеяло древней Русью.

Больше всего Юрия Казакова поразили деревни Русского Севера, ни на какие другие деревни на свете не похожие. Высокие избы, от которых веяло древностью веков, двери вообще без замков. Если хозяин уходил в море, то избу не запирали, а просто ставил палку к двери. Это означало, что дома никого нет. И никто в избу не заходил. И запахи в деревнях здесь иные: пахнет в них карбасами, просмоленными бортами, пахнет сетями, песком, мхом, рыбой и тюленьей кожей...

«Впервые на Белое море я попал в 1956 году, — писал Казаков позднее в очерке «Вот и опять Север». — Полтора месяца шел я побережьем от деревни к деревне (а они дружно от друга километрах в сорока-пятидесяти), где пешком, а где на карбасах и мотоботах... Так начался для меня Север... Я ездил на Белое море еще и еще, пока наконец не взялся за «Северный дневник».

Сидя осенью в чудесной деревушке на Оке и дописывая последние главы «Дневника», я думал, что северные мои странствия — и открытия, и восторги, и печали — уже позади, но как же я заблуждался! Север не отступал меня, а притягивал все сильнее. Мне

хотелось глубже проникнуть в жизнь края, где все было необычным — и быт, и язык, и характеры. Потомки древних новгородцев, пришедших несколько столетий назад осваивать этот суровый, прекрасный край, поморы сохранили чистоту и образность истинно русского языка, своеобразие быта. Они не знали крепостного права, не испытывали иноземного ига... География моих дальнейших поездок на Север все расширялась. Из каждой поездки я привозил 1–2 очерка...

На Севере я иногда ловил с рыбаками рыбу, был на тюленьем промысле...»

Юрий Казаков подолгу жил в Лопшеньге, считал ее самой красивой поморской деревней, работал наравне со всеми ее жителями, ходил на сейнере в море, ловил рыбу. Паустовский любил слушать рассказы Казакова о царстве рыбы и моря, о жизни моряка, о поморах. А эти бесконечные истории о ветрах, приливах и отливах, рассказы про Лопшеньгу! Константин Георгиевич доставал с книжной полки географический атлас и, сняв очки, начинал отыскивать места, куда собирался поехать вместе с Казаковым: «Яреньга... Лопшеньга... — бормотал он. — Какие названия! Юра, возьмите меня! Возьмете? Я вот поправлюсь... Врачи пустят — возьмете? И с тоской поглядел за окно, на заливные луга, на Оку».

Казаков встречался с Паустовским и разговаривал с ним много раз, вплоть до печального июльского дня шестьдесят восьмого, когда писателя не стало. А тот до конца жизни интересовался, расспрашивал всех, кто у него бывал, где Казаков, о чем пишет. Рад был приездам Казакова к нему в Тарусу. Разговор о Севере начинался с порога и продолжался до поздней ночи.

Отдельной страницей в творчестве Казакова стоит рассказ про поморские деревни. В его сюжетах мелькают настоящие, не придуманные названия деревень: Вазинцы, Золотицы, Майда, Койда. Везде колхозникам начисляли трудодни. А тут мужики ловили и сдавали государству рыбу. Получали за нее деньги. И деньги немалые. Мне думается, что Казаков, возможно, даже в ущерб литературным достоинствам «Северного дневника», сознательно поведал читателям об экономике здешних колхозов. Но рассказал так, что и сегодня, через много десятилетий, интересно читать о том, каким сильным был рыбацкий колхоз с символическим названием «Освобождение».

За сухими цифрами планов, уловов сельди, трески, наваги, палтуса, камбалы, семги, тюленя, белухи со страниц его «Дневника» вставляли во весь рост гордые и свободные, как морская стихия, здешние мужчины и женщины. И все у них, в деревнях Майде и Койде, было: и школа, и клуб, и библиотека, и техника разная, и две электростанции, газеты и журналы в каждом доме. Не было лишь соловьев да пыльных дорог, о которых они знали лишь по песням. Пятнадцать колхозников работали матросами на средних рыболовецких траулерах, шестнадцать — на сейнерах, шестьдесят восемь заняты на тонях — на установке сетей для ловли семги, остальные — мотористы на моторах, трактористы, электрики, механики. Рыбаки получали за сезон от 25 до 30 тысяч рублей на средних рыболовецких траулерах и по 8–9 тысяч — на сейнерах, на прибрежном лове — на тонях — по полторы–две тысячи рублей в месяц (Казаков приводит расчеты в старых деньгах, до реформы 1961 года. — Н.Б.).

Люди Русского Севера становились Казакову ближе, ему иногда казалось, и он будто бы родился в этих местах. А имена какие звучные у женщин и мужчин в этих краях: Анфия, Ульяна, Манья, Евламбий, Зосима, Нестор... Особенно Казаков любил вечерние застолья: за крепким горячим чаем он мог часами слушать рассказы поморов.

— Как у вас тут ветры называются? — спрашивает писатель.

Собеседник явно расположен к беседе и настроение у него есть поговорить с человеком из Москвы.

— А вот слушай! Вот, скажем, так, начнем с севера. Север — он так и будет север. Это ветер дикий, с океана, холодный и порато сильный! Дальше идет полуношник, это тебе будет север-восток. Этот тоже дикий, еще, пожалуй, похуже севера. Пойдем дальше. Дальше будет восток, восток значит. А еще обедник — этот как бы юго-вос-

тозк. Эти ветра ничего, хорошие... Дальше будет летний, южный, с гор идет, волон у нас возля берега почти не дает, этот тоже ничего. Шалоник, юго-запад, тот днем дует, ночью стихает, так и знай! Запад — он и по-нашему запад. Ну и последний тебе ветер — побережник, как бы сказать, северо-запад. Тот дикой, холодный и взводень большой роет, худой ветер!

Удивительное дело: Казаков хранил в памяти сотни таких рассказов, записывал потом, когда оставался один на один с блокнотом или с чистым листом бумаги. Выводил в записной книжке: «Солнце красно с вечера, рыбаку бояться нечего», «Солнце красно поутру, рыбаку не по нутру».

А сколько бумаги он исписал про семгу! Вот как писатель записывает рассказ рыбака: «Семга — рыба дивная... лучше ее нет по всей земле... Рыба она умная и знает свой закон. Так чтобы по морю без толку болтаться, этого у ней нет. А идет она походами... На тони выезжаем в начале июня. И вот в начале июня начинает нам идти семга... Первый поход ей начинается с начала июня, и называется она залетка — это семга крупная, сильная, жиловатая. С десятого июня до Прокофьева дня, то есть до двадцать первого июля, идет все межень, мелкая семга. С Прокофьева до первого Спасу, то есть по-теперешнему до четырнадцатого августа, может идти, но не каждый год такая семга — черная рыба. Эта будет покрупнее межени. А со Спасу и до конца октября, пока лед не появится, идет осенняя семга, самая крупная и постоянная, и это называется главный поход».

Казаков считал семгу главной рыбой на Белом море, называл ее «гербом, девизом всего Русского Севера». Семгу ловят по всему Белому морю: и в Двинской губе, и в Мезенской, и в Кандалакшской, и в Онежской губе. Ловят много: в среднем за год до революции вылавливали 3–3,5 тысячи центнеров, в 50-х годах — до 8 тысяч центнеров. Управление рыбной промышленности вынуждено было установить лимит на вылов семги. «...вещь, по сравнению с другими морями, на Белом море неслыханная!» — восхищался Казаков.

Летом пятьдесят шестого там, на Русском Севере, Казаков не встретил ни одного приезжего. По всей видимости, он был едва ли не первым странствующим человеком на Белом море. Под зоркими взглядами местных мальчишек, запекавших на угольях картошку, писатель-путешественник чувствовал, что он среди них один такой — чужой, приезжий. Но с годами в нем стали видеть своего, запросто принимали в каждом доме, сажали за стол, угощали чаем, пирогами с рыбой.

Казакова, как и Паустовского, влекла дорога. На Русском Севере он попадал в такую обстановку, где не надо было что-то выдумывать: море, звуки, ночное небо, северное сияние, лодки, сети, рыба, запахи, люди... На стареньком мотоботе, грузенном мешками с мукой, добирался по морю до опрокинутой, отраженной в воде деревни. Он часто ездил в тот край. Его влекла северная природа, климат, белые ночи: «Утром опять солнце, опять мелеет море и уходит, обнажая песчаный берег, невод. И в неводе снова плес и шум, солнечные брызги, и среди брызг и плеска — рыбаки в мокрых одеждах, с мокрыми палками в руках. И бьют, чекушат, усыпляют рыбу, стаскивают в корзины, на носилки...» А потом она попадет в Москву и сотни разных городов, будет лежать освещенная люминесцентными лампами в витринах гастрономических магазинов.

Герои его рассказов были рядом с ним, писатель мог любоваться ими. Он даже фамилии не придумывал: все они жили у него под своими именами... Разговаривали они на том языке, где «каждое слово обживается веками». Новгородская жизнь давно прожита и забыта, замечает Казаков, а здесь, на Русском Севере, она отдается, как эхо. Это открытие не только повлияло на отношение писателя к людям, ставшим героями его книг, но и заставило строже спрашивать с себя.

«...месяца полтора ходил я по Северу, по Белому морю, жил по несколько дней в разных деревнях, жадно расспрашивал каждого о чем придется, нисколько не сты-

дядь своего неведения, своей наивности, пока не понял вдруг, что чуть не каждый человек, родившийся и выросший в суровом краю, — герой», — писал он позднее в повести «Мальчик из снежной ямы», возвращаясь к своим первым впечатлениям от встречи с картинами Тыко Вылки.

Работы Тыко Вылки, ненецкого художника с Новой Земли, Казаков увидел впервые в Архангельском музее изобразительных искусств. В этих полотнах его поразили бесхитростные и в чем-то наивные сюжеты, но в «беззащитных красках была такая свежесть, такая безыскусственность, что глаз нельзя было оторвать, как, бывает, не оторвешь взгляд от ослепительно-синего окошка небес в низких темных тучах». О картинах Тыко Вылки писали многие: русский писатель и художник Степан Писахов, художники Абрам Архипов и Василий Переплетчиков, путешественник и полярник Владимир Русанов. Альбом с рисунками Тыко Вылки лежал на рабочем столе российского императора Николая II. Всесоюзный староста, председатель ВЦИК М.И. Калинин назвал Тыко Вылку «президентом Новой Земли». Его имя носят улицы в Архангельске и в Нарьян-Маре, бухта в заливе Брандта Южного острова Новой Земли.

Весной на Казакова наваливалась тоска. Сидя в ресторане с другом, он слушал его рассказы о Севере, о десятидневном шторме в Норвежском море, о проводке каравана на малых сейнерах по Великому Северному пути, об Архангельске. После девятидневной путины в Баренцевом море они с другом жили в Ялте, в гостинице на набережной: много спали, по утрам шелестели давно прочитанными газетами, днем пили кислое крымское вино, ездили в Гурзуф, наблюдали за стоявшими на рейде белыми пароходами, не без смеха смотрели на южных моряков, на их белые рубашки, галстуки, выглаженные брючки, а вечерами сидели на веранде и пили коньяк и кофе.

Глядя на эту сытую, беззаботную жизнь, вспоминали полярный мрак, вой и свист, глухие удары, скрип и треск на палубах, рев моря, свинцовое небо, белые гребни до самого горизонта, пустынный берег, деревни на Белом море и их серые избы. Друг подначивал:

— Переведемся?

И улыбался своей шутке. Ялта казалась убогой, а море ненастоящим. Их тянуло на Север, «проклятый» Север.

Казаков вспоминал «свои скитания», как жил на рыбацкой тоне, выходил в море на баркасе, как белыми ногами бил с рыбаками зубаток. Вспоминал целый год. И не было для него счастливей времени: он успел написать много рассказов о Севере, о Белом море. Живя в Подмосковье, ночами думал о том, что еще напишет о днях, проведенных среди северной природы, и о той девушке, которая пришла проводить его, как она стояла на мостках, и он, уезжая, оставлял ей слабую надежду на встречу в будущем.

Его охватывало волнение при одном только звуке той деревни, где он провел свое первое лето, при воспоминании о ней ему хотелось вернуться, встретить опять тех людей, с которыми вместе рыбачил, пить чай, слушать их новости, жить с ними в сизой избе под тесовой крышей, а по вечерам записывать их рассказы... Память возвращала его в небольшой полярный поселок, в котором он встретил раннюю осень, в маленький северный город, который стоял на берегу реки, и где такое короткое лето.

Сидя в избушке на берегу Оки, Казаков доставал блокнот и намечал маршрут на следующее лето. По его расчетам выходило, что ему нужно пройти берегом Белого моря, совершенно пустым, шестьдесят километров. На пути, по рассказам местных жителей, ему попадутся кое-где тони, иногда заброшенные, горы, близко подходящие к воде. Но во время отлива их можно обойти берегом. Во время шторма вряд ли, придется идти через горы. Но Казакова пугали не горы, не ущелья и не расстояния. В предстоящем путешествии его пугало одиночество. Он не раз ходил берегом, видел, как одиноко солнце садится в море, видел черные покосившиеся кресты. В такие минуты Казакову казалось, что весь мир вымер, и он один остался на земле. Проснув-

шись среди ночи в заброшенной холодной рыбацкой избушке, он не мог избавиться от странного ощущения, будто идет в прошлое. И ушел уже далеко, лет за сто назад, в древность.

Однажды Казаков вышел к одиноко стоящей на берегу избе, грязной, закопченной. И встретил двоих рыбаков, молчаливых. Один молоденький, другой постарше — глухонемой. Спали они на каком-то тряпье, нары тут жесткие, в два яруса. За два часа в ожидании доры — деревянного карбаса — Казаков обмолвился с ними несколькими предложениями. Разговора не получилось.

После трехчасового перелета из Москвы до Архангельска, морем до маяка, пешком до Каменки — и провалиться в глубокую древность, прийти к варягам, к их морской жизни. Под окнами номера гостинцы в Архангельске Казаков видел Двину, чаек над ней, мачты пароходов, пар над буксирами и думал: «Неужели все это было?.. А может, никогда и не было!?»

Утром он улетал в Москву. Возвращаясь в свой дом в Абрамцеве, чистый, вымытый, выскобленный до блеска, собирался следующим летом вернуться и послушать, как поют свои руны рунопевцы, поют, как и тысячу лет назад, повстречаться с Татьяной Перттунен, правнучкой Архипа Перттунена, который напевал почти все пятьдесят песен «Калевалы» карело-финского народного эпоса...

Страсть к путешествию, к бродяжничеству не прошла у Казакова с годами. Он любил свой дом в Абрамцеве, но и жалел, что купил когда-то его. Очень держали ремонты всякие, не было той легкости, когда за полдня собрался и уехал на Север, на Валдай, на Волгу, в Городец... Он хотел опять стать бродягой, думал все время о том, как когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый... А потом возвращался домой, садился за письменный стол и вспоминал свои разговоры с вахтенными матросами, как просыпался на рассвете от тишины возле пристани у какой-нибудь деревеньки, чтобы увидеть и увезти с собой еще одну милую северную подробность.

Казакова, как и Паустовского, влекло странничество. Его тянуло к людям, хотелось поговорить, разузнать, как они живут. Больше всех изумляли его старики Севера. Казаков имел возможность беседовать с людьми, которые родились в 70 — 80-е годы XIX столетия. Подумать только: они полжизни прожили до революции семнадцатого года!

Они хорошо помнили песни, сказки, само время, которое было так далеко от Казакова и его современников!

Заслуга Юрия Казакова как писателя заключается в том, что он открыл читателям Русский Север, как прежде Пушкин открыл читателям Кавказ. Возможно, в будущем станет традицией отмечать его первый приезд в эти места. А точка отсчета писателем указана точно: «Впервые на Белое море я попал в 1956 году...»

